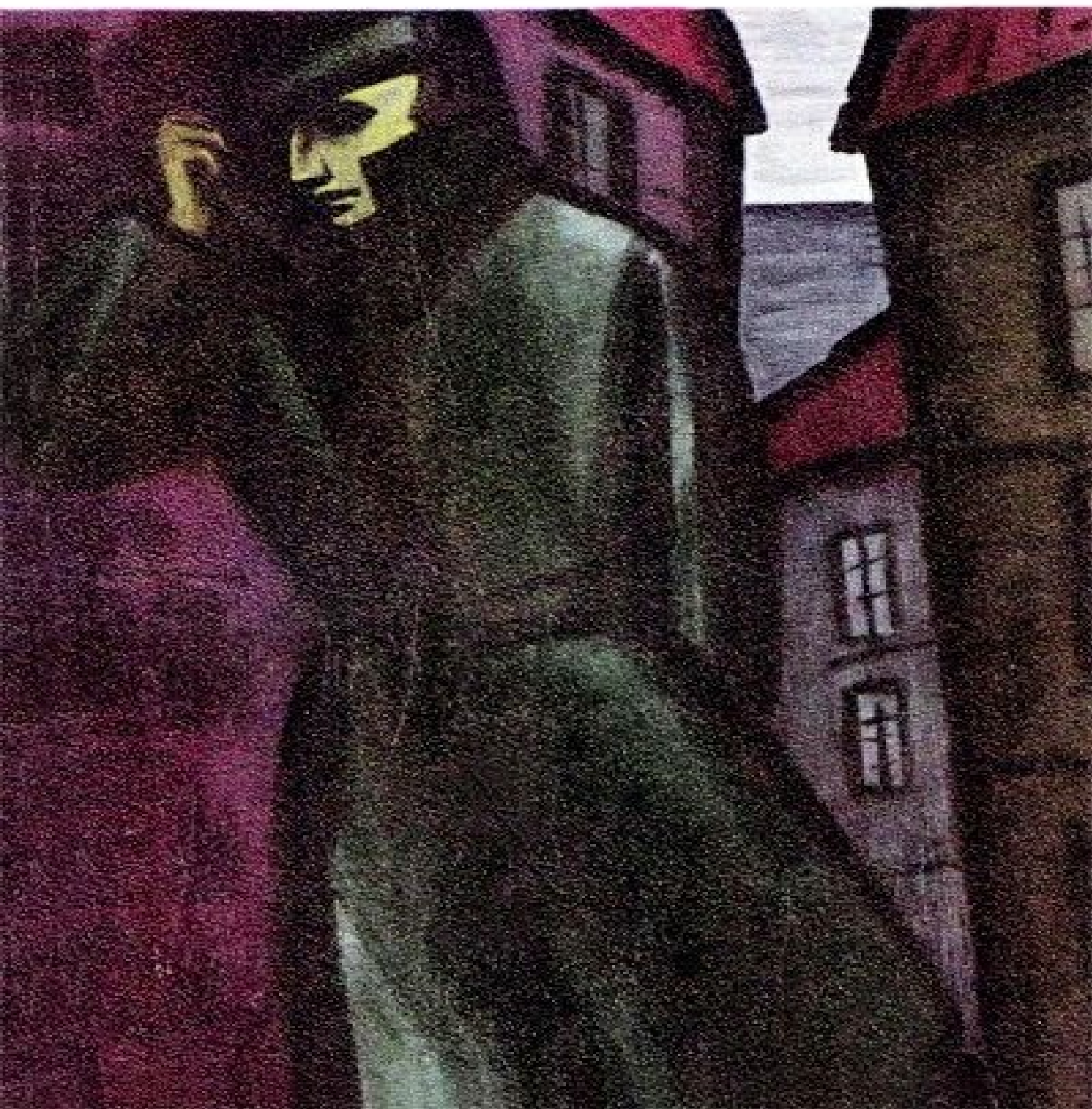


Анна Зегерс

ТРАНЗИТ
РАССКАЗЫ



Annotation

...Нежилой вид был у этого ранчо с его низким домом, обращенным к дороге слепой стеной. Решетка в воротах, давно бесполезная и ветхая, была проломлена, но над сводом еще виднелся остаток смытого бесчисленными дождями герба. Этот герб мне показался знакомым, как и половинки каменных раковин, в которых он был укреплен. Я вступила в открытые ворота. Теперь, к моему удивлению, мне послышался легкий размеренный скрип... Поскрипывание вдруг стало явственней, и в кустах я уловила равномерные взмахи качелей или раскачивающейся доски. Теперь любопытство меня охватило настолько, что я бросилась сквозь ворота к качелям. В тот же миг кто-то крикнул: «Нетти!»

Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем...

- [Анна Зегерс](#)

◦

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Анна Зегерс

Прогулка мертвых девушек

– Нет, куда дальше отсюда. Из Европы.

Человек оглядел меня с усмешкой, как будто я ответила ему: «С луны». Это был хозяин пульткерии, расположенной у выхода из деревни. Он отошел от стола и, привалясь к стене дома, застыл, рассматривая меня, словно искал признаки моего сверхъестественного происхождения. Мне так же, как и ему, вдруг показалось сверхъестественным, что меня занесло из Европы в Мексику.

Деревня, как крепостной стеной, была обнесена изгородью из кактусов. Сквозь проход я могла разглядеть коричнево-серые склоны гор, голые и дикие, как поверхность луны. Одним своим видом они отменяли всякую мысль о том, что когда-нибудь имели что-то общее с жизнью. Два перечных дерева пламенели на краю пустынного ущелья. Казалось, и эти деревья не цвели, а пылали. Хозяин уселся на корточки под огромной тенью своей шляпы. Он перестал рассматривать меня. Ни деревня, ни горы не привлекали его. Неподвижно он вглядывался в то единственное, что задавало ему непомерную, неразрешимую загадку, – в абсолютное Ничто.

Я прислонилась к стене, бросившей узкую тень. Мое убежище в этой стране было слишком сомнительным и ненадежным, чтобы называться спасительной пристанью. Я только что оправилась после нескольких месяцев болезни, настигшей меня здесь, когда всевозможные опасности войны, казалось, меня миновали. Глаза мои жгло от жары и усталости, но все-таки мне удалось проследить часть пути, ведущего из деревни куда-то в глушь. Дорога была такая белая, что стоило мне закрыть глаза – и она казалась отпечатанной у меня внутри на веках. На краю ущелья виднелся и угол белой стены, которую я заметила еще раньше – с чердака гостиницы в большом, расположенном в выше селе, откуда я спустилась сюда.

Я тогда сразу спросила про эту стену – ранчо ли это или что-то еще, что могло там светиться одиноким, словно упавшим с ночного неба огнем? Но никто не мог дать мне ответа. И вот я отправилась в путь. Несмотря на усталость и слабость, уже здесь вынуждавшие меня сделать передышку, я решила сама разузнать, что такое там находилось. Праздное любопытство было остатком моей давней любви к путешествиям, импульсом, перешедшим в привычку. Удовлетворив его, я тотчас же вернусь в

предназначенное мне убежище. Скамья, на которой я отдыхала, была пока что конечным пунктом моего путешествия. Можно даже сказать – самым западным пунктом, которого я достигла на земном шаре.

Страсть к необычным, волнующим приключениям, которая некогда не давала мне покоя, давно была утолена до пресыщения. Одно, только одно могло еще меня вдохновить – возвращение на родину.

Ранчо, как и сами горы, лежало в мерцающей дымке. Не знаю, возникла ли она из пронизанных солнцем пылинок или это моя усталость все затуманила так, что предметы вблизи исчезали, а даль вырисовывалась ясно, как будто мираж. Мне стала противна моя слабость, поэтому я встала, и туман перед глазами немного рассеялся.

Я вышла через проход в палисаде из кактусов и направилась дальше, обойдя по дороге пса. Неподвижный как труп, весь в пыли, он спал, вытянув лапы. Это было незадолго до периода дождей. Голые корни безлистных переплетенных деревьев цеплялись за обрыв, стремясь превратиться в камень. Белая стена придвинулась ближе. Облако пыли, а быть может – усталости снова сгустилось в расселинах гор, но не темное, как обычные тучи, а блестящее и мерцающее. Я приписала бы все это моей лихорадке, если бы легкий горячий порыв ветра не развеял облака, как ключья тумана, и не погнал их к другим склонам.

За длинной белой стеной сверкнула зелень. Возможно, там был источник или отведенный ручей, который давал на ранчо больше влаги, чем в деревне. Нежилой вид был у этого ранчо с его низким домом, обращенным к дороге слепой стеной. Одинокий огонь вчера вечером, если я только не обманывалась, горел, вероятно, у привратника. Решетка в воротах, давно бесполезная и ветхая, была проломлена, но над сводом еще виднелся остаток смытого бесчисленными дождями герба. Этот герб мне показался знакомым, как и половинки каменных раковин, в которых он был укреплен. Я вступила в открытые ворота. Теперь, к моему удивлению, мне послышался легкий размеренный скрип. Еще шаг вперед. Теперь я могла ощутить запах зелени в саду, которая становилась все свежей и пышнее, по мере того как я вглядывалась в нее. Поскрипывание вдруг стало явственней, и в кустах, которые у меня на глазах разрастались все гуще, я уловила равномерные взмахи качелей или раскачивающейся доски. Теперь любопытство меня охватило настолько, что я бросилась сквозь ворота к качелям. В тот же миг кто-то крикнул: «Нетти!»

Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем. За многие годы я привыкла ко всяческим именам, какими меня называли друзья и враги, какими меня окликали на улицах, наделяли на празднествах и

собраниях, ночью наедине, на полицейских допросах, на книжных обложках, в газетных статьях, в протоколах и паспортах.

Когда я лежала больная, в беспамятстве, как часто я суеверно ждала, что услышу свое прежнее имя. Но оно было утеряно, это имя, которое, как я, обманывая себя, думала, могло сделать меня здоровой, счастливой и юной, могло вернуть мне спутников прежних дней и прежнюю невозвратно утраченную жизнь. При звуке моего старого имени я от неожиданности, хотя в классе меня постоянно высмеивали за эту привычку, схватилась обеими руками за свои косы. Как удивительно, что я могла вот так ухватить две толстые косы: значит, их не обрезали в больнице!

Пень, на котором была укреплена качающаяся доска, был словно окружен плотным облаком, но облако тотчас же поредело, распустилось в сплошных кустах боярышника.

Уже засияли отдельные звездочки курослепа в тонком тумане, пробивавшемся от земли сквозь густую и высокую траву. Туман прояснился настолько, что отчетливо вырисовывались одуванчики и полевая герань, а среди них и розовато-коричневые пучки трясунки, трепетавшей от одного только взгляда.

На концах доски, сидя верхом, качались две девушки, две мои лучшие школьные подружки. Лени сильно отталкивалась большими ногами, обутыми в тупоносые ботинки на пуговках. Мне вспомнилось, что она постоянно донашивала ботинки старшего брата. Потом, осенью 1914 года, в самом начале первой мировой войны, брат ее погиб. Я поразилась, как это на ее лице нет даже следа тех грозных событий, которые сгубили ее жизнь. Лицо ее было свежим и гладким, как спелое яблоко, на нем не было ни малейшего шрама, ни намек на побои, которым ее подвергли в гестапо, когда она отказалась дать показания о своем муже. Ее толстая, «моцартовская» коса взлетала над затылком при каждом взмахе качелей. Круглое лицо со сведенными вместе густыми бровями хранило решительное, энергичное выражение, которое с малых лет появлялось у Лени, когда она была занята каким-нибудь трудным делом. И эту морщинку на лбу я знала. Я всегда замечала ее на сияюще-гладком, как яблоко, круглом лице в тех случаях, когда мы азартно играли в мяч, состязались в плавании, писали классные сочинения, а позже на бурных собраниях и когда раздавали листовки. В последний раз я видела у нее эту складочку между бровями уже в гитлеровское время, когда в родном городе, незадолго до моего окончательного бегства, я напоследок встретилась с друзьями. И еще прежде прорезала лоб ей морщинка, когда ее муж не явился к условленному часу в условленное место, из чего стало ясно, что он схвачен

нацистами в подпольной типографии. И конечно, нахмурились брови, сжался рот, когда и сама она вскоре была арестована. Эта резкая линия на лбу, которая раньше появлялась у нее только в особые минуты, отпечаталась навсегда, когда в женском концлагере, во вторую зиму этой войны, ее медленно, но верно убивали голодом. Удивительно, как мог временами исчезать у меня из памяти ее образ – голова, осененная концами широкого банта в «моцартовской» косе, – как могли забыться ее черты, если я твердо знала, что даже смерть не в силах изменить это похожее на яблоко лицо с врезанной в лоб морщинкой.

На другом конце доски, поджав длинные стройные ноги, примостилась Марианна, самая красивая девушка в классе. Она подколола пепельные косы так, что они плоскими кольцами закрывали уши. На ее лице, очерченном благородно и правильно, как лица средневековых женских статуй в Марбургском соборе, нельзя было прочесть ничего, кроме ясности и очарования. В нем не было никаких признаков бессердечности, злой вины или душевной черствости, как не бывает их у цветка. Я сама сразу забыла все, что знала о ней, и радовалась, глядя на нее. Ее стройное худощавое тело с крепкой маленькой грудью под застиранной блузкой зеленого цвета каждый раз вздрагивало, когда она старалась сильнее раскачать доску. Казалось, она сама вот-вот улетит со своей гвоздикой в зубах.

Я узнала голос пожилой учительницы, фрейлейн Меес, – она искала нас за низкой стеной, отделявшей дворик с качелями от террасы, где пили кофе «Лени! Марианна! Нетти!». Я больше не хваталась от удивления за косы – ведь учительница не могла окликать меня наряду с другими девочками никаким иным именем. Марианна сбросила ноги с доски и, как только доска накренилась, уперлась покрепче, чтобы Лени было удобно сойти. Потом одной рукой она обняла Лени за шею и заботливо вытащила у нее соломинки из волос. Теперь мне представилось совершенно невозможным все то, что мне рассказывали и писали о них обеих. Раз Марианна так бережно придержала качели для Лени, так дружески и заботливо убрала соломинки из ее волос и даже обвила рукой ее шею, то невозможно, чтобы позднее она так резко, так холодно отказала Лени в товарищеской услуге. Разве бы у нее повернулся язык сказать, что ей нет дела до девушки, когда-то случайно ходившей «ней вместе в один класс? Что каждый пфенниг, потраченный на Лени и ее семью, брошен на ветер, преступно отобран у государства? Гестаповцы, арестовавшие сначала отца, а затем мать, объявили соседям, что оставшийся без призора ребенок Лени должен быть немедленно отдан в национал-социалистский приют. Соседки

перехватили девочку на детской площадке и спрятали ее, чтобы потом переправить в Берлин к родственникам отца. Они прибежали взять денег на дорогу у Марианны, которую прежде не раз видели рука об руку с Лени. Но Марианна отказала и еще прибавила, что ее муж – член нацистской партии и занимает высокий пост, а Лени с мужем арестованы поделом, так как совершили преступление против Гитлера. Женщины испугались, как бы на них самих не донесли в гестапо.

Мне вдруг подумалось, что и на детском лице могла появиться морщинка, точь-в-точь как у матери, когда девочку все же забрали в воспитательный дом.

Теперь обе они, Марианна и Лени, из которых одна по вине другой лишилась ребенка, шли из сада с качелями, тесно обнявшись, сблизив головы, так что виски их соприкасались. Мне стало немного грустно. Я почувствовала себя, как это часто случалось в школьные годы, чужой среди общих игр и дружеской близости остальных. Но тут девушки еще раз остановились и взяли меня в середину.

Мы двигались к террасе позади фрейлейн Меес, как три утенка за уткой. Учительница немного хромала, у нее был широкий зад, и все это делало ее еще больше похожей на утку. На груди у нее, в вырезе блузы, висел большой черный крест. Я прятала улыбку, так же как Лени и Марианна. Но веселость, вызванная ее комическим видом, умерилась чувством почтения, – несовместным с насмешкой даже когда Исповеднической церкви запретили богослужение, она по-прежнему, ничего не боясь, ходила повсюду с этим массивным черным крестом на груди, вместо того чтобы заменить его свастикой.

Терраса на берегу Рейна была обсажена кустами роз. По сравнению с девушками они выглядели такими правильными, прямыми, заботливо ухоженными, словно садовые цветы рядом с полевыми. Сквозь запах воды и растений пробивался манящий запах кофе. Над столиками, накрытыми скатертями в белую и красную клетку, перед длинным и низким зданием ресторана звенели юные голоса, будто жужжал пчелиный рой. Меня потянуло поближе к воде. Захотелось вдохнуть необъятный простор этого солнечного края. Я потащила за собой Лени и Марианну к садовой ограде, и здесь мы стали смотреть на реку, которая текла мимо дома, голубовато-серая, сверкающая. Холмы и деревни на том берегу с лесами и пашнями отражались в воде, покрытой сетью солнечных бликов. Чем дальше оглядывала я все вокруг, тем свободнее становилось дышать, тем сильнее наполнялось радостью сердце. Почти неприметно исчезал остаток уныния, отягчавшего каждый мой вздох. При одном только взгляде на милый

холмистый край грусть отступала, и вместо нее в самой крови рождались жизнерадостность и веселье. Так всходит зерно в родной почве, под родным небом.

Голландский пароход, за которым цепью тянулись восемь барж, скользил по холмам, отраженным в воде. Они везли лес. Жена шкипера подметала палубу, а ее собачонка приплясывала вокруг хозяйки. Мы, девушки, подождали, пока не пропал белый след, тянувшийся за караваном барж, и на воде уже ничего больше не было видно, кроме отражения противоположного берега, сливавшегося с отражением сада на нашей стороне. Мы возвратились к кофейным столикам, впереди нас шла, покачиваясь, фрейлейн Меес со своим крестом, тоже качавшимся у нее на груди, но она теперь не казалась мне потешной. Крест вдруг стал полным значения символом, непоколебимым и торжественным.

Может быть, среди школьниц и были угрюмые неряхи, но теперь в своих пестрых летних платьях, с прыгающими косами или веселыми «крендельками», подколотыми на висках, все они выглядели цветущими, нарядными. Большинство мест было занято, поэтому Марианна и Лени уселись на одном стуле и поделились чашкою кофе. Маленькая Нора, со вздернутым носиком, тоненьким голоском, двумя косами, обвитыми вокруг головы, одетая в клетчатое платьице, с такой важностью разливала кофе и раздавала сахар, будто она была здесь хозяйкой Марианна, которая после и думать забыла о прежних своих одноклассницах, отчетливо вспомнила эту прогулку, когда Нора, возглавившая нацистский Союз женщин, приветствовала в нем как нового члена свою школьную товарку Марианну.

Было ли то голубое туманное облако, прихлынувшее с Рейна, или глаза мне все еще застилала дымка усталости, только все столики вдруг заволокло, и я больше не различала в отдельности лиц Норы, Марианны и других, кто был с ними, как не различают отдельных венчиков в охапке диких цветов. Я слышала спор о том, куда лучше посадить молодую учительницу, фрейлейн Зихель, которая в это время выходила из гостиницы. Туман перед моими глазами немного рассеялся, так что я ясно увидела фрейлейн Зихель. Она была одета, как и ее ученицы, во все светлое, нарядное. Фрейлейн Зихель села совсем рядом со мной Быстрая Нора налила любимой учительнице кофе. В своей готовности угодить фрейлейн Зихель она даже успела украсить ее место несколькими веточками жасмина.

Конечно, в этом бы Нора наверняка раскаялась, когда она сделалась руководительницей Союза женщин в нашем городе, не будь ее память столь же хрупкой, как и ее голосок. Сейчас она с гордостью, почти что с

влюбленностью глядела, как фрейлейн Зихель продела одну из этих жасминных веточек в петлицу своего жакета. В первую мировую войну Нора была бы рада, если б ей выпало дежурство в одну смену с фрейлейн Зихель в отряде «Женская служба», раздававшем еду и питье проезжающим в эшелонах солдатам. Зато потом эту же учительницу, к тому времени уже одряхлевшую, она прогнала грубой бранью со скамейки у Рейна – ведь не могла же она сесть на одну скамью с еврейкой! Внезапно, когда я так близко сидела от фрейлейн Зихель, я обнаружила непростительный пробел в моей памяти – как будто моим высшим долгом было навсегда запомнить все до малейшей подробности; я заметила, что волосы фрейлейн Зихель вовсе не были искони белоснежными, как это осталось у меня в памяти. Нет, в день нашей школьной прогулки ее пышные волосы были каштановыми, разве что несколько белых нитей пробивалось на висках. Теперь этих нитей было еще так мало, что их можно было пересчитать, но они поразили меня, словно впервые, сегодня и здесь, я наткнулась на след старости. Все остальные девушки за нашим столом вместе с Норой радовались близости любимой учительницы, не подозревая, что после они будут плевать на нее и кричать ей «Еврейская свинья!»

Самая старшая из нас, Лора, – она носила юбку с блузой, завивала рыжеватые волосы и давно крутила настоящие романы, – ходила тем временем между столиками, раздавая изготовленное ею печенье. В этой домовитой девушке соединились самые разные дарования. Отчасти они проявлялись в поваренном, отчасти в любовном искусстве. Лора всегда была очень веселой и общительной, склонной к озорным шуткам и выходкам. Легкомысленный образ жизни, который она начала вести необычайно рано – учительницы строго осуждали ее за это, – не привел к браку, ни даже к серьезной любовной связи. Так что в то время, как многие давно уже были примерными матерями, она все еще выглядела школьницей, в коротенькой юбке, с большим, ярким и жадным ртом. Как же мог постигнуть ее такой мрачный конец – самоубийство при помощи целого тюбика снотворного. У нее был любовник-нацист. Вне себя от ее неверности, он угрожал ей концлагерем, поскольку грех ее именовался «осквернением расы». Долго он тщетно выслеживал, чтобы застигнуть ее с человеком, связь с которым преследовалась законом. Но, несмотря на ревность и мстительность, ему удалось уличить ее лишь незадолго до этой войны, когда по учебной воздушной тревоге всех жителей подняли из постелей и погнали в убежище, в том числе и Леру с ее преступным возлюбленным.

Украдкой, что, впрочем, не ускользнуло от нас, она дала оставшуюся у

нее звездочку, обсыпанную корицей, плутовке Иде, тоже заметной своей миловидностью – шапка естественных кудряшек украшала ее. Ида оставалась ее единственным другом в классе, когда на Лору стали коситься из-за ее походов. Мы неодобрительно перешептывались, видя, как Ида с Лорой о чем-то весело договариваются, и немало судачили о том, что обе девочки вместе ходят в бассейн, подыскивая себе подходящих партнеров по плаванию. Не знаю только, почему Иду, которая сейчас тайком грызла коричную звездочку, никогда не преследовали блюстительницы женской нравственности – должно быть, потому, что она была дочкой учителя, а Лора – парикмахера. В свое время Ида покончила с беспутной жизнью, но и у нее дело не дошло до свадьбы – жених ее пал под Верденом. Сердечное горе побудило ее ухаживать за больными и ранеными, чтобы быть, по крайней мере, полезной. После заключения мира в 1918 году она не захотела оставить своего призвания и поступила в сестры милосердия. Ее прелесть уже немного увяла, локоны слегка поседели, словно присыпанные пеплом, когда она, вступив в нацистскую партию, стала вести работу среди сестер. И хотя в нынешнюю войну у нее не было жениха, ее жажда мести, ее ожесточение были все еще живы. Она вдальблывала в головы молодым сиделкам государственные инструкции, предостерегавшие от разговоров с военнопленными на дежурствах и от оказания им каких-либо услуг «из ложного сострадания». Однако ее последнее наставление – использовать полученную марлю только для соотечественников – осталось невыполненным: в госпиталь, расположенный далеко за линией фронта, попала бомба и разнесла в куски друзей и врагов, не пощадив и ее кудрявой головы, которую сейчас Лора гладила пятью наманикюренными пальчиками, не зная себе равных в целом классе.

Тут фрейлейн Меес постучала ложечкой о кофейную чашку и велела нам собрать деньги за кофе в сине-белую мейсенскую тарелочку. С этой тарелочкой она приказала обойти все столы своей любимой ученице. Точно так же проворно и смело собирала потом фрейлейн Меес пожертвования на запрещенную нацистами Исповедническую церковь и настолько привыкла к подобным поручениям, что под конец стала казначейшей. Поручение не из безопасных, однако она собирала эту лепту так же свободно и просто. Герда, любимица фрейлейн Меес, сегодня весело гремела тарелкой, а потом понесла ее хозяйке. Не будучи красивой, Герда обладала живостью и привлекательностью. У нее было лошадиное лицо, грубые взлохмаченные волосы, крупные зубы и красивые карие, чуть навывкате, тоже схожие с конскими, преданные глаза. Она стрелой принеслась обратно – ее сходство с лошадкой увеличивалось благодаря тому, что она вечно бежала галопом, –

испросить разрешение отстать от класса и вернуться следующим парходом. В доме она узнала, что хозяйский ребенок тяжело заболел, и, так как за ним больше некому было ухаживать, Герда хотела присмотреть за больным. Фрейлейн Меес отвела все возражения фрейлейн Зихель, и Герда помчалась к постельке больного, как на праздник. Она была рождена для ухода за больными, для любви к людям, для призвания учительницы в подлинном, ныне почти исчезнувшем значении этого слова. Казалось, она была предназначена всюду искать детей, которые в ней нуждались, и она всегда и повсюду их находила. И хотя ее жизнь под конец оборвалась незамечено и нелепо, ничто из того, что составляло эту жизнь, ни одна частица оказанной ею помощи не пропала даром. Самую жизнь ее было легче уничтожить, чем истребить следы этой жизни в памяти многих, кому Герда мимоходом помогла. Но кто помог ей, когда ее собственный муж, несмотря на все ее возражения и угрозы, по распоряжению нового правительства вывесил на Первое мая флаг со свастикой, так как иначе его бы уволили со службы? Никого не было с ней, чтобы вовремя успокоить ее, когда, прибежав с рынка домой, она увидела свое жилье, оскверненное страшным флагом. Содрогаясь от стыда и отчаяния, она открыла газовый кран. Никто не помог ей. В этот час она была безнадежно одна, хотя стольким людям помогла в свое время.

Приближавшийся парход прогудел над Рейном. Мы вытянули головы. На его белом корпусе блестела золотом надпись «Ремаген». И хотя парход был еще далеко, я смогла разглядеть это имя моими больными глазами. Я видела клубы дыма из труб и иллюминаторы каюты, видела, как следы пархода на воде то исчезали, то появлялись вновь. Мое зрение привыкло за это время к родному, знакомому миру. Я все видела еще острее, чем когда проходил голландский буксир. Парходик «Ремаген», скользящий по широкой глади реки, мимо деревень, холмов и гряды облаков, – в этой картине была такая нерушимая гармония и ясность, которой нельзя было отнять, которую ничто в целом свете не могло замутить. Я уже сама различала на палубе и в круглых окнах знакомые лица и слышала, как девушки называли имена: «Учитель Шейк! Учитель Райе! Отто Хельмхольц! Ойген Лютгенс! Фриц Мюллер!». Все девушки кричали хором – Это мужская гимназия! Седьмой класс! Сойдут ли мальчики, выехавшие, как и мы, на прогулку, здесь, на ближайшей пристани? Фрейлейн Зихель и фрейлейн Меес после краткого совещания приказали нам, девочкам, построиться по четыре в ряд, так как явно желали избежать встречи двух классов. Марианна, у которой косы расплелись еще на качелях, принялась заново укладывать их крендельками, потому что ее более зоркая подруга

Лени, с которой она вместе качалась, а потом вместе сидела на стуле, разглядела на борту Отто Фрезениуса, поклонника Марианны, неразлучного с ней на танцах. Лени шептала ей:

– Они сойдут здесь. Он показал мне рукой.

Фрезениус, русский угловатый семнадцатилетний юноша, давно упорно махал нам с парохода. Он готов был броситься вплавь, чтоб соединиться с любимой девушкой. Марианна крепко обхватила Лени. Подружка, которую она позже, когда к ней обратились за помощью, вообще не хотела знать, была для нее как родная сестра, добрая поверенная в горестях и радостях любви, она честно передавала письма, устраивала тайные свидания. Марианна всегда была красивой, цветущей девушкой. Теперь же одна только близость друга придала ей нежность и очарование, и Марианна выделялась среди подруг как дитя из волшебной сказки. Дома Отто Фрезениус уже открылся в своем чувстве матери, которой он поверял все тайны. Мать его сама радовалась удачному выбору и думала, что когда-нибудь позже, если подождать, как положено, ничто не будет препятствовать их браку. Помолвка действительно состоялась, но свадьба – никогда, потому что жених вступил в студенческий батальон и уже в 1914 году погиб в Аргонах.

Пароход «Ремаген» уже разворачивался, направляясь к пристани. Две наши учительницы, которые вынуждены были дожидаться встречного парохода, чтобы отвезти нас домой, сразу принялись нас пересчитывать. Лени и Марианна с нетерпением глядели на приближающийся пароход. Лени с таким любопытством тянула шею, как будто предчувствовала, что ее собственная судьба и ее будущее зависят от того, соединятся или разлучатся влюбленные. Если бы это зависело только от Лени, а не от кайзера Вильгельма, который объявил мобилизацию, а потом от французского снайпера, Отто и Марианна и вправду составили бы пару. Лени чувствовала, как эти два молодых существа были под стать друг другу душой и телом. Марианна, если бы это произошло, впоследствии не отказалась бы позаботиться о ее ребенке. Отто Фрезениус, может быть, уже заранее нашел бы средство помочь Лени спастись бегством. Возможно, что постепенно ему удалось бы сообщить красивому, нежному лицу своей жены Марианны такие черты справедливости и человеческого достоинства, которые не позволили бы ей предать подругу.

Отто Фрезениус, которому в первую мировую войну суждено было получить пулю в живот, теперь, окрыленный любовью, первым сбежал по сходням к нашему садику. Марианна, по-прежнему обнимая одной рукой Лени, подала ему другую и не отнимала ее. Не только мне и Лени, но всем

нам, девушкам, было ясно, что эти двое были влюбленной парой. Они явили нам впервые не вымышленное, не вычитанное из стихов, или сказок, или из классических драм, но подлинное и живое понятие влюбленной пары, как сама природа его задумала и создала.

Пальчик Марианны задержался в руке Фрезениуса, и лицо ее при этом выражало совершенную преданность, обещавшую теперь и вечную верность этому высокому, худощавому русому юноше. Это в память о нем она по-вдови оденется в траур, когда ее письмо, отправленное на полевую почту, вернется с отметкой «Погиб». В эти тяжкие дни Марианна, обожавшая прежде жизнь со всеми ее большими и маленькими радостями, касалось ли дело ее любви или только качелей, совсем потеряла вкус к жизни. Подружке же ее Лени, которую Марианна теперь обнимала за плечи, в эти дни предстояло встретиться с отпусником Фрицем из семьи железнодорожника, жившего в нашем городе. В то время как Марианна на долгое время окуталась черным облаком, в прелести отчаяния, в очаровании глубокой печали, Лени сияла, как румяное, спелое яблоко. Вот почему обе девушки какое-то время чуждались друг друга – просто по-человечески, как чуждаются друг друга горе и радость. По окончании срока траура, после множества встреч, происходивших в кафе на берегу Рейна, Марианна с тем же выражением вечной преданности на нежном лице, рука в руке друга, как и теперь, заключила новый союз с неким Густавом Либихом, который остался невредимым в первую мировую войну, а впоследствии вступил в эсэсовский отряд нашего города и был произведен в чин штурмбанфюрера. Нет, Отто Фрезениус, если бы он вернулся невредимым с войны, не сделался бы ни штурмбанфюрером, ни доверенным лицом гаулейтера. Печать честности и справедливости, которая уже теперь лежала на его мальчишеском лице, делала его непригодным для такой карьеры и такого рода деятельности. Лени была только довольна, узнав, что отныне судьба обещала, новые радости ее школьной подруге, к которой она все еще была привязана, как к сестре. Лени, как и сейчас, была слишком наивна, чтобы предвидеть, что судьбы мальчиков и девочек все вместе составляют судьбу родины, судьбу народа и что поэтому когда-нибудь горе или радость ее школьной подруги может бросить тень или луч света и на нее...

От меня, так же как и от Лени, не ускользнуло выражение лица Марианны, которая легко и как будто случайно оперлась о руку юноши. Здесь давалось безмолвное, но нерушимое обещание навсегда принадлежать друг другу Лени глубоко вздохнула, словно для нее было особенным счастьем стать свидетельницей подобной любви. Прежде чем

Лени и ее мужа арестовало гестапо, Марианне пришлось выслушать от своего мужа Либиха, которому она тоже поклялась в вечной верности, так много нелестных слов по адресу мужа ее школьной подруги, что у нее самой пропало всякое дружеское чувство к девушке, столь мало заслуживающей уважения. Муж Лени ни за что не хотел вступать ни в штурмовые, ни в эсэсовские отряды Либих, гордый чином и званием, оказался бы там его начальником. Когда он заметил, что муж Лени пренебрегает такой, с его точки зрения, честью, он обратил внимание городских властей на нерадивого соотечественника.

Весь класс реальной гимназии и с ним два учителя высадились наконец на берег. Господин Нееб, молодой учитель со светлыми усиками, раскланявшись с обеими учительницами, устремил пристальный взгляд на нас, девушек, и сразу заметил отсутствие Герды, которую он невольно искал. Герда все еще мыла и нянчила больного ребенка, не подозревая ни о нашествии юношей в сад, ни о том, что ее не хватает учителю Неебу, которому уже раньше запомнились ее карие глаза и запала в душу ее отзывчивость. Лишь после 1918 года, по окончании первой мировой войны, когда Герда сама стала учительницей и когда оба они ратовали за улучшение школьной системы Веймарской республики, должна была произойти их решающая встреча в только что основанном Союзе сторонников школьной реформы. Но Герда оказалась более верной, чем он, старым стремлениям и целям. Женившись наконец на девушке, которую он избрал за ее взгляды, Нееб вскоре начал ценить покой и благосостояние в их совместной жизни больше, чем общие убеждения. Поэтому он и вывесил из окна флаг со свастикой – в противном случае закон грозил ему потерей места, а тем самым и куска хлеба для семьи.

Не только мне бросилось в глаза разочарование Нееба, когда он не нашел в нашей стайке Герды, он сумел разыскать ее лишь впоследствии, чтобы больше не отпускать от себя, но тем самым стал одним из виновников ее смерти. Эльза, кажется, была самой юной среди нас – эта кругленькая девочка с толстой косой и красным, как вишня, круглым ртом. С деланным равнодушием она проронила, что еще одна из наших, Герда, осталась в гостинице, чтобы присмотреть за больным ребенком. Эльза, такая маленькая и незаметная, что мы все ее скоро забыли, как не помнят какой-нибудь круглый бутон в букете цветов, еще не имела собственных любовных историй. Однако она любила обнаруживать их у других и, напав на след, запускать туда свои лапки. Угадав по блеску в глазах господина Нееба, что она попала в точку, она, как бы случайно, добавила: «А больной в комнатке, сразу за кухней». Эльза испытывала таким образом свою

хитрость, и ее сверкавшие детские глазки лучше разгадали мысли Нееба, чем это удалось бы потускневшим от опыта взрослым глазам, а меж тем ее собственная любовь долго заставила себя ждать. Ведь ее будущий муж, столяр Эби, еще должен был пойти на войну. Он тогда уже носил острую бородку, у него уже было брюшко, он был много старше Эльзы. Когда после заключения мира он произвел кругленькую курносую Эльзу в супруги мастера столярного ремесла, ему пришлось кстати, что она успела изучить в торговой школе бухгалтерию. Оба они чрезвычайно серьезно относились к столярному делу и к воспитанию своих троих детей. Столяр впоследствии любил говорить, что для его профессии все едино, сидят ли в Дармштадте, главном городе их провинции, герцогские или социал-демократические чиновники. На то, что пришел к власти Гитлер и началась новая война, он смотрел как на своего рода стихийное бедствие – грозу или снежный буран. К тому времени он уже порядком состарился. И у Эльзы в густых косах появилось немало седых волос. У него уже не осталось времени изменить свое мнение, ибо при налете английских бомбардировщиков на Майнц его жена, он сам, их дети и подмастерья за какие-нибудь пять минут расстались с жизнью, разлетелись в клочки вместе со всем домом и мастерской.

Эльза, крепкая и кругленькая, как орешек, который, как видно, могла расколоть только бомба, забралась в середину своего ряда. Марианна заняла место в последнем ряду, с краю, где Отто все еще мог стоять с ней, держа ее руку в своей. Они смотрели через ограду на воду, где их тени сливались с зеркальным отражением гор, облаков и белой стены кафе. Они не говорили друг с другом. Они были уверены, что ничто на свете не сможет их разлучить – ни строй по четыре в ряд, ни отплытие парохода, ни, когда-нибудь позже, их смерть в мирной старости, среди милых детей.

Старший учитель мужского класса – он шаркал ногами, откашливался, ребята называли его «Старик», – окруженный своими мальчиками, спустился по сходням в сад. Они поспешно и нетерпеливо расселись за столом, который только что оставили девочки, и хозяйка, довольная, что Герда все еще возилась с ребенком, принесла свои чистые сине-белые мейсенские чашки. Классный наставник Райс принялся прихлебывать кофе так громко, как будто пил бородатый великан.

В отличие от того, как это бывает обычно, учитель Райс пережил своих юных учеников, погибших в первую и во вторую мировую войну под бело-красно-черными знаменами и под знаменами со свастикой. Он все пережил и остался невредим. Ибо он постепенно становился слишком стар не только для сражений, но и для смелых высказываний, которые могли бы его

привести в тюрьму или концентрационный лагерь.

Если мальчишки – одни благодетели, другие бесшабашные – скакали вокруг «Старика», подобно кобольдам из саги, то стайка щебечущих девушек в саду походила на эльфов. При подсчете обнаружилось, что нескольких из нас не хватает. Лора сидела в кругу мальчишек. Она всегда по возможности держалась мужского общества, сегодня и всю остальную жизнь, так плохо кончившуюся из-за ревности нациста. Рядом с ней хихикала некая Элли, внезапно встретившая своего партнера по урокам танцев, толстощекого Вальтера Короткие штанишки, которые, к его досаде, ему все еще приходилось носить, были теперь слишком тесны для его крепких ляжек. Потом наступило время, когда он, уже пожилой, но все еще представительный эсэсовец, распорядившись транспортировкой, навсегда увез арестованного мужа Лени. Лени заботливо заслонила Марианну, чтобы та могла обменяться прощальными словами с любимым, не подозревая, сколько будущих врагов окружало ее здесь, в саду, Ида, будущая сестра милосердия, сбегала к нам вниз, насвистывая и дурачась, выделывая танцевальные па. Круглые мальчишеские глаза и довольно раскосые глаза пожилого учителя, лакодившегося кофе, восхищенно уставились на ее кудрявую головку, повязанную бархатной ленточкой. Однажды, в русскую зиму 1943 года, когда на ее госпиталь внезапно обрушатся бомбы, ей разом припомнится все – и эта ленточка в волосах, и залитый солнцем белый дом, и сад над Рейном, и прибывшие мальчишки, и отъезжающие девочки.

Марианна выпустила руку Отто Фрезениуса и больше не обнимала Лени. Она сиротливо стояла в своем ряду, вся уйдя в любовные думы. Чувства, охватившие ее, были самыми земными из всех, но она в эту минуту отличалась от других девушек почти неземной красотой. Плечо к плечу с молодым учителем Неебом, Отто вернулся к столу, за которым сидели юноши. Нееб держался как добрый товарищ, без насмешек или вопросов, потому что и сам искал в этом же классе понравившуюся ему девушку и потому что он уважал любовные чувства даже у самых юных. Смерть разлучила Отто с его любимой намного раньше, чем это случилось с учителем, старшим годами. Зато этому мальчику в его короткой жизни была дарована верность, и все злое миновало его – все искушения, вся низость и позор, жертвой которых стал старший, когда захотел сохранить для себя и Герды место и государственный оклад.

Фрейлейн Меес, с ее массивным, несокрушимым крестом на груди, зорко охраняла нас, чтобы ни одна девушка до прибытия парохода не сбежала к своему партнеру по урокам танцев. Фрейлейн Зихель

отправилась искать некую Софи Майер и нашла ее наконец на качелях с Гербертом Беккером. Оба они были тощие, в очках, так что скорее походили на брата с сестрой, чем на влюбленных. При виде учительницы Герберт Беккер обратился в бегство. Я потом часто видела, как он пробегал по улицам нашего города, скаля зубы и строя гримасы. Когда я несколько лет назад снова встретила его во Франции, у него было все то же очкастое хитрое мальчишеское лицо. Он тогда только что возвратился с гражданской войны в Испании Фрейлейн Зихель так разбранила Софи за ее непоседливость, что бедняжке пришлось вытирать мокрые от слез очки. Не только волосы учительницы, в которых я опять с удивлением заметила седину, но и волосы школьницы Софи, теперь еще черные, как вороново крыло, как волосы Белоснежки, совсем поседели, когда в битком набитом запломбированном вагоне нацисты отправили их обеих в Польшу. Совсем сморщенная, состарившаяся, Софи внезапно скончалась на руках у фрейлейн Зихель. Она казалась тогда ее однолеткой, сестрой.

Мы утешали Софи и вытирали ее очки, когда фрейлейн Меес захлопала в ладоши, подавая сигнал к отправке. Нам было стыдно, потому что мужской класс наблюдал, как нас заставили вышагивать в строю, и еще потому, что все потешались над хромающей, утиной походкой нашей учительницы. Только во мне насмешливость умерялась чувством почтения к ее неизменной стойкости, которую не могли сломить даже вызов в инсценированный Гитлером «народный суд» и угроза тюрьмы. Мы ждали ее вместе на пристани, пока наш пароход не пришвартовался. Я следила, как боцман перехватил на лету трос, как трос этот наматывали па кнехт, как сбросили трап – все происходило с удивительной быстротой, словно то было приветствие какого-то нового мира, порука в том, что мы действительно отправляемся в плавание, и в сравнении с ним все мои путешествия по бесконечным морям, с одного континента на другой, поблекли и стали бесплотными, как детские грезы. Нет, они не были и вполнину такими живыми, не волновали так сильно запахом дерева и воды, легким покачиванием трапа, скрипением каната, как начало этого длившегося двадцать минут плавания по Рейну до моего родного города.

Я взбежала на палубу, чтобы сестра поближе к штурвалу. Пробыли склянки, трос забрали, пароход отвалил от пристани. Сверкающий белый серп пены врезался в воду. Я представила себе всевозможные корабли, бороздящие моря под всеми широтами, все полосы белой пены. Нет, никогда потом стремительность и необратимость пути, бездонная и опасная близость воды не запечатлелись сильнее. Передо мной вдруг возникла фрейлейн Зихель. На солнце она казалась совсем молодой в своем платье

горошком, с маленькой крепкой грудью. Глядя на меня блестящими серыми глазами, она сказала, что, раз я люблю путешествия и люблю писать сочинения, я должна приготовить к следующему уроку немецкого языка описание этой прогулки.

Все девочки, которые предпочли палубу каюте, расселись вокруг меня на скамейках. Из сада махали нам и свистели мальчики. Лора пронзительно засвистела в ответ, за что фрейлейн Меес ее отчитала. А свистки все неслись нам вслед в том же ритме. Марианна перегнулась через перила и не спускала глаз с Отто, как будто они расставались навеки, как потом, в 1914 году. Когда она больше уже не могла разглядеть своего друга, она обняла одной рукой меня, а другой – Лени. Вместе с нежностью ее худой обнаженной руки я ощущала и тепло солнечного луча, ласкавшего мою шею. Я тоже оглядывалась на Отто Фрезениуса. Стараясь удержать возлюбленную навсегда в своей памяти, он все смотрел и смотрел ей вслед, будто хотел ей, склонившей голову к Лени, напомнить о нерушимой любви.

Мы втроем, тесно обнявшись, смотрели на бегущую воду. Косые лучи заходящего солнца там и сям освещали на холмах и виноградниках фруктовые деревья, покрытые белым и розовым цветом. Несколько окон блестели в поздних лучах, словно охваченные пожаром. Деревни, казалось, росли, по мере того как мы к ним приближались, и становились крошечными, как только мы проплывали мимо. Никогда нельзя утолить природенную страсть к путешествиям, потому что все проносится перед тобой лишь в мимолетном касании. Мы проезжали под мостом, перекинутым через Рейн, – под тем самым мостом, по которому вскоре предстояло ехать воинским эшелонам со всеми мальчиками, пившими сейчас в саду свой кофе, и с питомцами всех других школ. Когда эта война кончилась, по тому же мосту двинулись солдаты союзных войск, а потом – Гитлер со своей новенькой, с иголки, армией, которая снова заняла Рейнскую область, пока эшелоны новой войны не покатали всех мальчиков страны навстречу смерти. Наш пароход проходил мимо Петерсау, где был укреплен один из устоев моста. Мы помахали трем маленьким домикам, которые с детства нам были близки, как будто вышли из книжки волшебных сказок с картинками. Домики и одинокий рыболов отражались в воде, а с ними и деревня на том берегу. С полями пшеницы и рапса и скопищем островерхих крыш, теснившихся друг за другом в розовой кайме цветущих яблонь, она поднималась готическим треугольником по склону горы, увенчанная шпилем церковной башни.

Поздний луч сиял то в просвете долины – на полотне железной дороги, то в окнах далекой часовни. И все это еще раз мгновенно показывалось из

воды, прежде чем исчезнуть в сумерках.

В этом тихом вечернем свете и мы все притихли, так что можно было расслышать птичий гомон и голос фабричного гудка из Аменебурга. Даже Лора замолчала Марианна, Лени и я, мы трое крепко держались за руки в том единении, которое было просто частицей великого братства всего земного под солнцем. Марианна все еще клонила голову к Лени. Как могла потом войти в эту голову бредовая идея, что только она, Марианна, и ее муж взяли на откуп любовь к этой стране, а потому с полным правом могут презирать и предавать ту, к которой они сейчас льнула? Никогда нам никто не напомнил об этой прогулке, пока для этого еще было время. Сколько бы сочинений ни писалось потом о родине, об истории родины, о любви к родине, никогда в них не упоминалось о главном – что наша стайка тесно прильнувших друг к другу девушек, плывущая по реке в косых лучах вечернего солнца, – это тоже родина.

Рукав реки ответвлялся к запани, откуда сплавлялся в Голландию свежесрубленный и разделанный лес. Город, казалось мне, еще так далеко, что ему никогда не заставить меня сойти на берег и остаться, хотя его запань, ряды платанов, склады на берегу мне были роднее и ближе, чем все гавани чужих городов, принуждавших меня оставаться в них. Мало-помалу я узнавала очертания знакомых улиц, коньки на крышах, церковные башни, целые и невредимые и близкие мне, как давно исчезнувшие места из сказок и песен. В этот день школьной прогулки все казалось мне в одно и то же время далеким и вновь обретенным.

Когда пароход описал дугу, приставая к берегу, а дети и бродяги праздной толпой двинулись нам навстречу, казалось, что мы возвращаемся не с прогулки, а из многолетнего путешествия. Ни одна пробоина или след пожара не обезобразили родного города, уютного и людного, так что мое беспокойство улеглось и я почувствовала себя дома.

Лотта распрощалась с нами первой, как только были сброшены тросы. Она хотела поспеть к вечерне в собор» откуда колокольный звон доносился до самой пристани. Позже Лотта кончила тем, что поступила в монастырь на Рейне, на острове Ноненверт, откуда вместе с другими сестрами ее переправили через голландскую границу, но судьба настигла их и там.

Класс попрощался с учительницами Фрейлейн Зихель еще раз напомнила мне о сочинении. Ее серые глаза сверкали, как гладко отполированные кремни. И вот наш класс разделился на отдельные стайки, и все заспешили в разные стороны по домам Марианна и Лени шли рука об руку по Рейнштрассе. Марианна все еще держала в зубах красную гвоздику. Таковую же гвоздику она воткнула в бант «моцартовской» косы

Лени Мне всегда отчетливо видится Марианна – и с красной гвоздикой в зубах, и когда она зло отвечала соседкам Лени, и когда ее наполовину обугленное туловище, в дымящихся лохмотьях, лежало в пепле родительского дома. Ведь пожарная команда прибыла слишком поздно, чтобы спасти Марианну, – огонь, вызванный бомбардировкой, с места попадания перебрался на Рейнштрассе, где она была в гостях у родителей. Ее смерть была не легче, чем смерть отвергнутой ею Лени, умершей в лагере от болезней и голода. Но ее предательство сослужило ту службу, что дочка Лени не погибла во время бомбежки – гестапо упрятало ее в отдаленный нацистский приют.

Я шла с несколькими школьницами по направлению к Кристофштрассе. Вначале мне было страшно. Когда мы свернули от Рейна в глубь города, сердце сжалось, точно меня ожидало что-то неладное, что-то злое – какое-то ужаснее известие или беда, о которой я легкомысленно забыла из-за веселой прогулки. Но потом мне стало совершенно ясно, что церковь святого Христофора никак не могла быть разрушена во время ночного налета бомбардировщиков. Ведь мы только что слышали ее колокольный звон. И вообще я напрасно боялась идти домой этой дорогой из-за того только, что мне врезалось в память, будто бы вся центральная часть города полностью разбомблена. Ведь тот газетный снимок, на котором все площади и улицы выглядели начисто разрушенными, мог быть и ошибкой! А сперва я решила другое могло быть и так, что по приказу Геббельса, чтобы скрыть размеры разрушений от бомбежки, здесь в лихорадочной спешке построили мнимый город, выглядевший прочным и настоящим, хотя ни один камень не стоял здесь на своем месте. Ведь мы давно привыкли к такого рода маскировке и лжи – не только при воздушных налетах, но и в других обстоятельствах, где трудно было до чего-нибудь дознаться.

Но дома, лестницы, фонтан – все стояло на месте. И магазин обоев Брауна, сгоревший в эту войну вместе со всем семейством владельца фирмы, тогда как в первую войну у него только разбило зенитным снарядом все стекла. Уже показались цветастые и полосатые обои в витринах магазина, так что Мари Браун, которая остаток пути шла рядом со мной, заспешила к дому. Последняя из возвращавшихся девушек, Катарина, подбежала к своей маленькой сестричке Тони, игравшей под платанами на каменной ступеньке фонтана. Фонтан и все платаны были, разумеется, давным-давно уничтожены, но детям ничто не мешало играть. Ведь и их смертный час уже пробил в подвалах ближайших домов. При этом и маленькая Тони, прыскавшая на всех водой из фонтана, погибла в доме,

унаследованном ею от отца, погибла вместе со своей дочкой, крохотной, как сегодня она сама. И Катарина, старшая сестра, которая сейчас схватила ее за вихор, и мать, и тетка, стоимшие в распахнутых дверях и встретившие девочек поцелуями. Всем им было суждено погибнуть в подвале отчего дома. Муж Катарины, обойщик, преемник своего отца, помогал в это время оккупировать Францию. Этот человек с маленькими усиками и короткими пальцами обойщика считал себя представителем нации, которая сильнее, чем другие нации, – до тех пор пока до него не дошли вести, что его дом и его семья уничтожены. Маленькая Тони повернулась еще раз на одной ножке и прыснула на меня остатком воды, которую она еще держала во рту. Конец пути я прошла одна. На Флаксмартштрассе мне встретилась бледная Лиза Мебиус, тоже девочка из моего класса. Она болела воспалением легких и из-за этого два месяца не могла выезжать с нами на прогулки. Вечерний звон церкви святого Христофора выманил ее из дома. Мелькнули две ее длинные каштановые косы и пенсне на маленьком лице. Она пробежала мимо меня проворно, будто неслась на детскую площадку, а не к вечерне. Позднее она просилась у родителей поступить вместе с Лоттой в ноненвертскую обитель, но когда согласие получила только Лота. Лиза стала учительницей в одной из народных школ нашего города. Я часто видела ее бледное острое личико, когда она бежала к мессе с нацепленным, как сегодня, пенсне. Нацистские власти третировали ее за приверженность к религии, но даже перевод на работу в школу для умственно отсталых, что считалось при Гитлере опалой, ничуть не задел Лизу, так как она уже привыкла ко всяким преследованиям. Даже свирепые нацистки, самые злобные и насмешливые, становились на редкость милыми и кроткими, когда во время воздушного налета они сидели в подвале вокруг Лизы. Те, кто был постарше, вспоминали при этом, что однажды они уже прятались с этой соседкой в том же подвале, когда в первую мировую войну рвались первые снаряды. Теперь они жались к маленькой презренной учительнице, как будто это ее вера и спокойствие отвели уже некогда от них смерть. Самые наглые и злорадные не прочь были даже позаимствовать толику веры у маленькой учительницы Лизы, которая всегда казалась им боязливой и робкой, а теперь так уверенно держала себя среди всех этих лиц, меловых в скудном свете убежища, во время воздушного налета, который на этот раз почти совершенно разрушил город вместе с ней и всеми ее цеплявшимися за веру неверующими соседками.

Магазины только что закрылись. Я прошла по Флаксмартштрассе, сквозь толчею возвращавшихся домой людей. Они радовались, что кончился день и предстоит спокойная ночь. Так же как их дома еще не

были повреждены снарядами первой большой пробы 1914–1918 годов, ни фугасами недавнего времени, так и их довольные, хорошо мне знакомые лица – худые и полные, бородатые и усатые, гладкие и с бородавками – еще не были тронуты преступлением, сознанием того, что им пришлось быть свидетелями преступления и молчать из страха перед властью государства. А ведь им вскоре должна была надоесть эта чванливая власть и ее трескучие наставления. Но может быть, они вошли во вкус всего этого? Вот этот булочник с подкрученными усами и круглым животиком, у которого мы всегда покупали сдобные штрицели, или кондуктор трамвая, со звоном проносающегося мимо нас? А может быть, этот мирный вечер, с торопливыми шагами прохожих, перезвоном колоколов, последним гудком далеких фабрик, и этот скромный уют трудовых будней, которым в эту минуту я наслаждалась с такою отрадой, заключали в себе что-то отталкивающее для тогдашних детей? Настолько отталкивающее, что вскоре они уже жадно впивали вести с войны от отцов и так страстно рвались сменить запыленную или обсыпанную мукой рабочую блузу на военную форму?

Меня вновь охватил приступ страха. Я боялась свернуть на свою улицу. Я как будто предчувствовала, что она разбомблена. Это чувство скоро прошло, потому что уже на последнем отрезке Баухофштрассе я свободно могла идти к дому моим обычным, любимым путем, под двумя большими ясенями, которые вздымались, как колонны триумфальной арки, по обеим сторонам улицы, касаясь друг друга листвой, неповрежденные, несокрушимые. И я уже видела белые, красные и голубые круги клумб из гераней и бегоний на газоне, пересекавшем мою улицу. Когда я приблизилась, вечерний ветер с небывалой силой прошумел над моей головой и выбросил из кустов боярышника целое облако листьев. Сперва мне показалось, что они горят на солнце, но на самом деле они были окрашены в солнечно-красный цвет. На душе у меня было так, как всегда после целого дня прогулки, – словно я уже давным-давно не слышала посвиста рейнского ветра, заблудившегося на моей улице. Но я очень и очень устала. Я была рада тому, что стояла уже перед домом. Только надо было еще подняться по лестнице, а это было невыносимо трудно. Я взглянула вверх, на третий этаж, где помещалась наша квартира. Моя мать уже стояла на балкончике над улицей, украшенном ящиками с геранью. Она поджидала меня. Как, однако, она молодо выглядела, моя мать, – гораздо моложе меня! Какими темными были ее гладкие волосы по сравнению с моими! Мои уже вскоре совсем побелеют, а у нее еще не заметно седых прядей. Она стояла довольная, прямая, – судьба явно

предназначила ее для хлопотливой семейной жизни, полной повседневных радостей и тягот, но не для мучительного, жестокого конца в глухой деревне, куда она была выслана Гитлером. Теперь она узнала меня и кивала мне, как будто я вернулась из путешествия. Так улыбалась она и кивала мне всегда, когда я возвращалась с прогулки. Быстро, как только могла, я вбежала в дом.

Перед тем как взбежать по лестнице, я остановилась – почувствовала себя внезапно слишком усталой. Голубовато-серый туман усталости окутал все. Но вокруг меня было светло и жарко, а не сумрачно, как бывает на лестницах. Я заставляла себя подняться к матери, но лестница, неразличимая в тумане, казалась недосягаемо высокой, невозможно крутой, будто вела на отвесную гору. Может быть, мать уже вышла в переднюю и ждет меня у входной двери. Ноги отказывались мне служить. Только совсем маленькой девочкой я испытывала уже подобный страх. Мне казалось, что нечто неотвратимое не даст нам увидеться. Я представила себе, как тщетно ждет меня мать, отделенная от меня лишь несколькими ступенями. Правда, одна мысль утешала меня если я свалюсь здесь от усталости, отец сможет сразу найти меня. Ведь он вовсе не умер. Он скоро вернется домой – рабочий день уже кончился. Он только любит болтать на углу с соседями дольше, чем это правится матери.

Уже гремели тарелками к ужину. Мне слышно было, как за всеми дверями кто-то ритмично шлепал руками по тесту. Странно, однако, что таким образом готовят оладьи. Видно, вместо того чтобы раскатывать вязкое тесто, его просто расплющивают ладонями. И еще со двора доносился горластый крик индюка. Я удивилась, – с чего это у нас во дворе вдруг развели индюков. Хотела оглянуться, но удивительно яркий свет из окон, выходящих во двор, ослепил меня. Ступеньки застлались туманом, вся лестница раздвинулась в бесконечную глубину, точно в пропасть. Тучи заклебились в оконных нишах, быстро заполняя пространство. Я еще смутно подумала: «Как жаль! Мне так бы хотелось, чтобы мать обняла меня! Если я слишком слаба, чтобы подняться, – откуда мне взять силы вернуться в далекое село, где меня ждут к ночи?» Солнце все еще жгло. Его лучи палят всего жарче, когда падают косо. Мне все еще было дико, что здесь совсем нет сумерек, только мгновенный переход от дня к ночи. Я собрала все свои сиди и стала тверже ступать, хотя подъем терялся в бездонной пропасти. Перила лестницы перевернулись и образовали мощный частокол из трубчатых кактусов. Я больше не могла различить, что было зубцами гор, а что – тучами.

Я нашла дорожку к кабачку, где отдыхала, спустившись из

расположенного выше далекого села. Пес уже убежал. Два индюка, которых не было прежде, разгуливали по дороге. Мой хозяин все еще сидел на корточках перед домом, а рядом с ним сидел его сосед или родич, так же оцепеневший от размышлений или ни от чего. У ног их дружно прилегли тени их шляп. Мой хозяин не шевельнулся, когда я подошла, – я не заслуживала этого. Он просто включил меня в привычный круг своих ощущений. Сейчас я слишком устала, чтобы сделать еще хотя бы шаг. Я села за тот же стол, что и прежде. Я собиралась вернуться в горы, как только немного переведу дух. Я спрашивала себя: «Как мне теперь проводить свое время – сегодня и завтра, здесь и где-то еще?» – ибо я ощущала теперь бесконечный поток времени, необоримый, как воздух. Ведь нас приучили с детства, вместо того чтобы смиренно отдаваться на волю времени, покорять его тем или иным способом. Внезапно мне вспомнилось задание моей учительницы тщательно описать нашу школьную прогулку. Завтра же или еще сегодня вечером, когда моя усталость пройдет, я выполню это задание.

1943

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)